

М. Горький

Горемыка Павел

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г71

Г71 **Горький М.**
Горемыка Павел / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2021. – 86 с.

ISBN 978-5-4241-2506-5

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь» в 1894 году в двадцати пяти номерах газеты: с номера 80 – 8 апреля по номер 152 – 6 июля., В письме к А. М. Горькому от 7 января 1910 года доктор В. Н. Золотницкий сообщал, что в среде нижегородских знакомых Горького возникла мысль об издании сборника его ранних произведений с благотворительной целью. Золотницкий упоминал при этом и повесть «Горемыка Павел». В собрания сочинений повесть не включалась., Так как новая редакция повести была только начата, – в настоящем издании «Горемыка Павел» печатается по тексту газеты «Волгарь».

ISBN 978-5-4241-2506-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М. Горький, 2021

Горемыка Павел

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благоразумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение, – если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать своё дитя на попечение общества, – а что они решили именно так, на это указывало припиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещён, зовут Павлом», – последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завернутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул её изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская – тёмная и довольно свежая, – чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья берёзы; на них уже было много жёлтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой – очень часто – они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений, – днём шёл дождь, а к вечеру взошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожуцу младенца Павла, еле видную в густой бахrome лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись, и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил её в рот и стал сосать, всё ещё молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю а priori, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, тёмное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звёздами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моём месте, сделал бы, я твёрдо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое прояв-

ление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго, через полчаса к нему подошёл человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большой двигающийся пень, – подошёл, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточённо плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным, рокочущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.

– Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и... опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горчайшим пьяницей и горячим приверженцем трёхэтажной эрудиции.

– Тащи его в часть!

Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, – и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понёс было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щёчку ребёнка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щёлкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобрать, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определённого.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая чёрная борода тряхнулась и отодвинулась к ушам, – и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!..», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

– Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!.. – как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарём, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

– Не хочешь, значит? Ах ты... комар!

Но тут «комар», очевидно, убеждённый, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза – от недоумения или оттого, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дёрнул соску вон и затем озабоченно и пристально

всмотрелся в лицо ребёнка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

– Чши-и... чши и-и... – зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребёнком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребёнок кашлял всё громче.

– Эх ты, братец ты мой! – сокрушённо вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам её мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то чёрную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростёртых над ней и улыбавшихся ей живыми, трепещущими лучами своих ярких звёзд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса тёмных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь, – прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдалённые небеса.

– Пакошь!..

Резюмировав столь красноречиво всё происшедшее, он встал с тумбочки и пошёл по улице к городу, потряхивая ребёнка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шёл он, поворачивая из улицы в улицу, долго и, очевидно, весь путь был отягчаем какими-то особыми, необычными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую, извивались – и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил только тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди площади, и Арефий уже прошёл часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

– Спит! – прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребёнка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость её. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит.

А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребёнок погибнет, ибо он спит.

– Эх ты, братец! – укоризненно произнёс Арефий, входя под своды части.

– Ты откуда? – спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.

– С поста.

– Это чего? – ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.
– Тише ты, чёрт! ище ребёнок.
– Ишь их, дьяволиц, порет!
– Дежурный кто?
– Гоголев.
– Спит?
– Дрыхнет!
– А тётка Марья тоже дрыхнет?
– И она спит. Чего же ей не спать?
– У-гу! Это верно!.. – протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.

– Скоро сменюсь я и тоже спать! – заметил собрат и хотел уйти.
– Погоди-ка, Михайло! – дёрнул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал: – Ежели его теперь к тётке Марье, ты как?
– Больно ей нужно! – скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла. – Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.
– Да ведь только на одну ночь! – убедительно заявил Арефий.
– Да мне что ж? только она, уж верно, пошлёт к чёрту. Давай ин понесу.

Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михаилу и на цыпочках пошёл за ним по коридору, внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжёлыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.

– Ну, я подожду! – шёпотом заявил Арефий.

Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.

Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание бороды, ни тем паче ковыряние стеной штукатурки пальцем.

За дверью слышалось глухое ворчанье.

– Обругалась, а взяла! – отворяя дверь, произнёс Михайло и почему-то изобразил на своём бритом лице торжество победителя.

– Ну вот! – свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

– Прощай, брат! иду на пост.

– Валяй! – равнодушно ответил Михаиле и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготовляя себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипали к каменным плитам.

Так простоял он несколько минут, и, наконец, в коридоре, скудно освещённом керосиновой лампой, произошёл следующий диалог:

– Михайло?!

– Ну, ещё что?

– Ты его завтра сдашь?

– Ребёнка, что ли? Ну, конечно, сдам.

– В родильный?

– Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ёрзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и тёмные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин...

– Умрёт он там! – буркнул Арефий.

– Ребёнок-то? Наверно, умрёт. Они там редко не умирают, потому – чистота, порядок...

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил своё мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял ещё немного и отправился на свой пост.

Он пришёл туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помешалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдалённой от всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это не рождало в нём никаких особенных дум и ощущений, а сегодня – родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая, сутулая фигура слилась с их тёмным фоном.

Он думал. Это были тяжёлые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они, наконец, оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда, наконец, разрешил этот вопрос суровым и тяжёлым «нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнёс:

– Анафемы подлые!

Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стёклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными смеющимися глазами странного чудовища с острой, зелёной головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причём кусты бузины, всползавшие на крышу, можно было принять за растрёпанные кудри, а щели над дверью будки – за морщины на весёлом, улыбавшемся челе чудовища.

В двенадцать часов дня он сидел у тётки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелёными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукавами. Каждое её движение было целой поэмой боевой жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тётки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество пробивалось всё-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублён в гимнастические упражнения, улавливая свою ногу руками и потом стараясь втащить её в рот. Красная, пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на неё, испускал одобрительные звуки.

– Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним? – заговорила

Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фаргуком. – Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребёнок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

– А ежели уморит?

– Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то? – дразнилась Марья.

– Чего?.. Баба, ну и...

– И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней, и всё. Вот, мол, тайный сын номера 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны, как ты? баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертогов, на ноги-то ставит? У... гарниз тупоголовая!.. говорит ещё про чего-то!

– Ну, а ты всё-таки не того... не лай! – резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тётки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

– Ещё чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей.

Али с вами иначе как можно? Ещё дуть вас нужно бы ежечасно!

– Да ладно... Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать елико возможно крепче задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя всё более тяжко.

– Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

– Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И, наконец, после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелестных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно стряпая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку, за печку, за полог постели, покрикивая в окно на кур и снова возвращаясь к ребятам, то и дело высовывавшим головы и подававшим голоса из разных углов, – Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

– Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол; ребёнка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперёд отдам Китаевой старухе, да с рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники... ну, и другое. А потом – пошёл в болото! надоед, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тётке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом и формой на дряблую редьку, её подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим, тонким голосом и через два слова в третье беспокоила того или другого из угодников божьих, кстати и некстати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тётка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила всё это внушительной фразой:

– Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! – и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комок, низко кланяясь тётке Марье,

и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шёпотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

– Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для кого как, а уж для вас... – и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить всё то, на что она способна.

– То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел всё молчал, лёжа на лавке. Он только тогда неодобрительно промычал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно «господи, благослови!» – а потом снова умолк, полный непонятого равнодушия к своей судьбе, и молчал уже всё время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожу щёк. Он заревел.

– Ишь, пострелёнок! Там молчал, смиренным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и ещё одного взяла; теперь стало пятеро. Маеты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься, но и с голода не умрёшь.

Последние дни и ночи её жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минутки покоя и отдыха... О господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стёкла окон в апартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что они сморщились и побледнели от густого запаха аммиака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопчёнными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской, – по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рваньё, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через отворённую дверь, обитую чем-то, имеющим отдалённое сходство с тёмно-зелёной клеёнкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью; прямо против двери стоял стол и на нём самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зелёный, пораненный во многих местах, инвалидно искривлённый набор и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах никого нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да воркотни самовара, не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в тёмный угол к двери: там на лавке в куче грязных тряпок копошится нечто живое.

Видна нога, искривлённая в дугу и поднятая на воздух, и, внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и ещё одной, такой же кривой, сухой и зелёной, –

полуторагодовалый ребёнок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблему, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно блел душой.

Он целые дни лежал тут в углу и, поднимая вверх то ту, то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьёзным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей, – рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые дёсны и покрытый жёлтым налётом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались в подмышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколоток. Иногда изучение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он всё с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отражённого ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что всё, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близком будущем предстоит переселиться с земли в землю, – он отводил свои серьёзные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем всё остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уж девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой, анемичной и сутулой девushки-швейки, и нашла её еле живой, лежащей на койке.

– Что же, матушка, – сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь, – родить-то родила, а кормить сила не взяла? Не порядок!

Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своём горбу носить. Денежки пожалуй, а то ребёнка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них выразилось много скорби и ужаса.

– Бабушка! – сдавленным шёпотом заговорила она, – заплачу! Всё до копейки, до гроша заплачу! С живой сдери с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!..

Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня него, бедного мальчика... а... а... а... пожалей!..

Старуха Китаева слушала её стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слёзы и как нервно, часто подымается впалая грудь матери горького Хрена.